

«Каждый человек есть вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает; под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история».

Генрих ГЕЙНЕ

Личная драма

В ночь с 7 на 8 июля 1851 года в Турине, близ Кариньянского дворца, проезжала почтовая карета, в которой сидела женщина в белом. Тонкое лицо с выразительными темными глазами под густыми бровями носило печать перенесенных страданий. Глубокое волнение, испытываемое ею теперь, закрашивало старые письма новыми. В окошко кареты она увидела человека, которого узнала бы в любой толпе, не то что на пустынной площади, овеваемой сирокко. «Ты тут?..» — только и сказала она. Он отворил дверцы. Она бросилась ему на шею.

Она была в белом при первом их свидании, 3 марта 1838 года, когда он, сыльный, тайно приезжал в Москву с единственной целью повидать ее. Белым было венчальное платье 9 мая того же года.

Александр Герцен собрал, перебрал эти даты, как скряга перебирает драгоценности, вместе с датами революции в Италии и Франции, чему был свидетель и участник, или датой открытия вольного печатного станка в Лондоне, чему был инициатор и исполнитель. Искандер (восточное — Александр) — так подписывалось им то, что выходило из-под его пера.

Он напишет: «Я отрицаю то царственное место, которое дают любви в жизни, я отрицаю ее самодержавную власть...» И в то же время последние минуты Наташи, Натали изложены им в таких словах: «...А между тем в спальне догорала, слабо мерцающая, великая жизнь...». Великая — о жене!..

Тут — для него — нет противоречия. Он встретил удивительную женщину, она была его возлюбленной, матерью его детей, сестрой (степень родства действительно имела, но ему нравилось так писать, так обращаться к ней) — и она разделяла его идеи. Ей, бывшей и ушедшей, обязан он той полнотой человеческого осуществления, которой и мы обязаны, читая ныне оставленные им. Она ждала его из ссылки («Государь «за мнения» посылает в Сибирь, за стихи морит в казематах... скорее готовы простить воровство и взыски, убийство и разбой, чем наглость человеческого достоинства и дерзости независимой речи»), она была другом его друзей, «нашим», Огареву, Кетчеру, Грановскому, позже Велинскому, Бакунину («Такого круга людей талантливых, развязных, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде...»), не замыкая интересов личным, частным («частная жизнь, не знающая ничего за порог своего дома, как бы она ни устроилась, бедна»), а напротив, размыкая в широкий мир общего («работать столько же для рода, сколько для себя, словом, развить эгоистическое сердце во всех скорбящих»).

Эта любовь, большая, чем любовь, эта дружба, большая, чем дружба, эта семья, большая, чем семья, — оказалась под угрозой. Рядом объявилось существо мятущееся, нервное, крайне лирическое и крайне эгоцентрическое. Поэт Гервег припал к обоям, обоям клялся в вечных чувствах, от обоих требовал обратных клятв, но «предметом» была Натали.

Однажды утром Герцен взял свою старую повесть «Кто виноват?». Роковой треугольник. В финале потухающая, ненадежная героиня; герой, «задавленный горем, молился богу и пил». Неужели то было пророчество? «Я пил, что попало — скидам, коньяк, старый беллет, пил ночью один и днем с Энгельсоном...» — это уже не из литературы. Из жизни.

После немеслимых (и, в общем, недостойных) сцен со стороны Гервега, горячайших мук ревности Герцена, слез и отчаяния Натали, Герцен получил от нее письмо: «Я возвращаюсь, как корабль, в свою родную гавань после бурь, кораблекрушений и несчастий — сломанный, но спасенный».

Знали бы оба, какое страшное не вноска в здание ждет их впереди и скоро! «Жесток человек, и одни долгие испытания укрощают его; жесток, в своем невежестве, ребенок, жесток юноша, гордый своей чистотой, жестокий поп, гордый своей святостью, и доктринер, гордый своей наукой, — все мы беспощадны и всего беспощаднее, когда мы правы. Сердце обыкновенно растворяется и становится мягким вслед за глубокими рубцами, за обожженными крыльями, за сожженными падениями...».

Прочтя «Былое и думы», Толстой назвал Герцена великим писателем. Можно понять. Он, желавший следовать предельно честным с собой, протягивая руку человеку, сделал в нем это.

Философско-публицистическое и литературное наследие Герцена — энциклопедия нравственного, социального, политического развития личности. Люди, желающие развиваться, находят у него все. Из письма Велинского: «У тебя страшно много ума, так

много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку...»

Его мысли о человеке

Наталия Тучкова-Огарева свидетельствовала: «Я забыла сказать относительно характера Герцена, что он был очень впечатлителен: вообще светлого, даже иногда веселого и насмешливого расположения, он мог, под каким-нибудь неприятным впечатлением, сделаться внезапно мрачным...». Вбирая в себя все впечатления жизни, он задавал непрерывную работу своему незаурядному уму — удивительно ли, что узнав, и обдуманное, повергал его иной раз во мрак... Он считал юность самой полной, изысканной частью жизни: потом жизнь заберет человека почти целиком, пока же он принадлежит более всего себе. Следовательно, в эти годы можно и нужно обогатить себя работой ума и чувства. Не научившись, не способным на это грозит отупение. «Зачем эти люди вставали с постелей, зачем двигались, для чего жили...».

Он разбирает человеческие типы. Плоская натура при первом жестком толчке действительности плюет на прежние святости, женится из денег, берет взятки. Романтическая — идет наперекор событиям, стремится не вникнуть в препятствия, а сломать их, и не умея этого сделать, останавливается в движении. Действительная — отправляется на борьбу не с юношескими сентенциями, но с юношеской энергией, вступаю в взаимодействие с окружающей средой, она «воспитывает свои убеждения по событиям», основываясь на «такте, т. е. органе импровизации, творчества».

Он вспоминает Паскаля, горюющего: люди играют в карты для того, чтобы не оставались наедине с собой. Боязнь исследовать, чтобы не увидеть вздора исследуемого, искусственный недостаток — настоящая беда человечества. Человек проходит по жизни спрессован и умирает в чаду нелепости и пустяков, не пришедши путем в себя. Здесь близко причина пьянства. «Вино оглушает, дает возможность забыть, искусственно веселит, раздражает; это оглушение и раздражение тем больше нравятся, чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую, пустую жизнь».

Без того ложного чувства, с каким мы иногда стесняемся высказаться, Герцен слышит «грубый смех высокомерной посредственности». «Уткнувшись нос в счетную книгу, прозябают тысячи людей, не зная, что делается вне их дома, ни с чем не сочувствуя и машинально продолжая ежедневные занятия. Разумеется, они превосходно знают все входившее в тесный круг их и знание свое выдают за великую практическую мудрость и житейскую науку, перед которой все другие науки и мудрости — мыльные пузыри».

На этот слой и это состояние, враждебные движению жизни, опирался и насаждал его российский консерватизм. Иллюстрация — из быта Вятской канцелярии, где служил наш опальный герой. «Министерство внутренних дел, — издевательски сообщает Герцен, — было тогда в припадке статистики...». Во исполнение предписания в числе собранных сведений такое — из одного заштатного городишки: «Утопших — 2, причины утопления неизвестны — 2», и в графе сумм выставлено «четыре» (!).

Через годы и километры, в другое время и в другом месте, Герцен классифицирует другие человеческие типы, но с той же меткостью и той же резкостью. Скажем, он описывает «хористов революции»: непризнанные артисты, несчастные литераторы, студенты, не окончившие курса, но окончившие ученые, адвокаты без процессов, художники без таланта, люди с большим самолюбием, но с малыми способностями, с огромными притязаниями, но без выдержки и силы на труд. «Внешнее руководство, которое гуртом пает в обыкновенные времена стада человеческого, слабев в времена переворотов, люди, оставленные сами на себя, не знают, что им делать. Легкость, с которой, и то только по видимому, всплывают знаменитости в революционные времена, поражает молодое поколение, и оно бросается в пустую агитацию; она причащает их к сильным погрешениям и отлучает от работы. Жизнь в кофейных и клубах увлекательна, полна движения, лстят самолюбие и вовсе не стесняет. Оползает нельзя, трудиться не нужно...».

Разумеется, Герцен имеет в

виду именно накипь. «...О тех сильных рабочих человеческого освобождения, о тех огненных проповедниках независимости, о тех мучениках любви к ближнему, которым ни тюрьма, ни ссылка, ни изгнание, ни бедность не перерезала речи, о тех деятелях и двигателях событий, кровью, слезами и речами которых водворяется новый порядок в истории», о них Герцен произносит совсем иное слово. Слово, которое говорит брат братьям и о братьях.

Его мысли о народе

«Мы не затыкаем ушей при горестных криках народа, и у нас хватает мужества признать с глубокой душевной болью, насколько развратило его рабство». Одна из главных мировоззренческих позиций Герцена.

Он взмошел в жизнь на плечах декабризма. Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, он был на благодарственном молебне в честь казни! Здесь, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, он клялся отомстить казненных и посвятить себя борьбе с тронем и алтарем, виселицами и пушками, направленными на подавление свободы. Он не отомстил. Деспотизм, внутреннее и внешнее рабство остались. Но и себе он не изменил. «...Через тридцать лет я стою под тем же знаменем, которого не покидал ни разу».

Самодержавие душило вся-

риту и другое: выступление дворянских революционеров было «роскошью, позором», а не вопросом куска хлеба, жизни и смерти. На оба сомнения отвечает история. И отвечает Герцен.

В жизни людей и общества нет однолинейного развития, человек и человечество шагают — противоречиями. Есть времена, когда люди и общества могут отшатнуться от идей, не принесших точчас результатов или скомпрометированных «последовательными». Идея, идеал ненадежны. Но мы не всегда умеем понять — и принять, — сколь долгая и трудная к ним дорога. Чекан с пятью профилями погибших с честью и за дело чести — мы видим его на герценовской «Полярной звезде» — вчеканен в национальную память, в национальный характер более, чем мы сознаем (чекан по-гречески и означает характер).

Тем, кто утверждал, что вопрос их не был вопросом жизни и смерти, Герцен отвечал с горестной иронией: «Для казненных да...». Они отдали жизнь, чего же еще!

Мы и Запад

Сопоставление России и Запада — Герцен, не гость и там и там, мог сказать по этому поводу больше, чем кто-либо.

Он начинает с Петра, взявшего за образец Европу. «...Из какого-то нелепого противоречия, оно оставалось все таким же замкнутым в исключительной национальности и питало дикую ненависть ко всякому нововведению».



Едкий взор Герцена примечает, как глядят русские на европейцев: «как провинциалы на столичных жителей, с подобострастием и чувством собственной вины, принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая».

Даже вопрос о моде оказывается значащим, говорящим. «В Европе люди одеваются, а мы рядимся и поэтому боимся, если рукав широк или воротник узок».

Разочарование в Европе после подавления революции, неспособность восставших ни удержать власть, ни исползовать ее во благо, засилие мешаства — было нестерпимо для Герцена. «Все рухнуло, общее и частное, европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастье».

Закономерность: живя в России, устремляю взор на Запад, живя на Западе — в Россию. «Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на родину». И тем не менее: едкий быт Европы не было, ее надобно бы выдумать.

Здесь содержится ключ к разгадке. «Европа» — для «западника» — не столько бытие, сколько сознание, направление ума, влекущая идея, знак устремления. Равно как «Русь-матушка» — знак для «славянофила». Можно думать, что мы имеем дело с общим (чужим) или оригинальным (своим) путем.

Но не верно ли говорить о векторе движения, о взгляде, в поисках идеала, вперед или назад? В раздумьях о национальном вопросе Герцен приглядывается к характерологическим особенностям разных народов. «Германский ум», по его мнению, «в революции, как и во всем, берет общую идею в ее безусловном (т. е. действительном) значении и довольствуется идеальным построением, воображая, что вещь сделана, если она понята, и что факт так же легко кладется под мысль, как смысл факта переходит в сознание». Вдумаемся. Не грешили ли этим, к примеру, некоторые ретивые «марксисты», обрубавшие живое древо практики в угоду сухой догме теории — в ее безусловном, то есть недействительном значении?

А вот суждение Герцена об американцах: «Этот народ, молодой, предприимчивый, более деловой, чем умный, до того занят устройством своего жилья, что вовсе не знает наших мучительных болей». Герцен предвидит, что новые колонисты не будут счастливые, но будут довольнее. «Довольство это будет плоше, беднее, суше того, которое носилось в идеалах романтической Европы, но с ним не будет ни царей, ни централизации, а может, не будет и голода».

Уместно привести его суждение о «купце» и «рыцаре», о «хозяевах», сменивших «господ». Купец, как определяет его Герцен, сам по себе лицо стертое, промежуточное, ибо он посредник между производителем и потребителем. Рыцарь был больше он сам, больше берег свое достоинство, как понимал его. Личность в нем была главное; в купце (мещанине) личность прятается, не выступает, потому что не она главное; главное — товар, вещь, дело. Санчо Панса, занимая место Дон Кихота, теряет свой природный юмор, вульгарная сторона его натуры берет верх. «Экономическое» наблюдение оборачивается общечело-

веческим. Схвачена природа явления.

Английские впечатления Герцена: все партии разделились на два стана — мещане-собственники с их монополиями и мещане, которые хотят вырвать эту собственность из себя, но не имеют силы. С одной стороны, скудость, с другой — зависть. И — бесплодная качка парламентских прений, она дает движение и пределы, дает вид дела и форму общих интересов для достижения своих личных целей.

Не предупреждение ли на века вперед? Не грозит ли похожее прошлое, какое мы не прошли как стадию истории, стать настоящим? Даже если не так в плане экономического, не забудем о плане нравственном. Герцен пишет о современном ему английскому парламенту как о колоссальном величьем колесе: «Можно ли величественнее стоять на одном и том же месте, придавая себе вид торжественного марша?... Неизбежность ли это? Или возможна другая основа — здравый смысл, оканчивающийся здравым действием?»

Живя в разных странах, познакомившись въяве с разными национальными укладами, национальными характерами, Герцен вопрошает: «Не рано ли так опрочметливо толковать о солидарности народов, о братстве, и не будет ли всякое насильственное прикрытие вражды одним лицемерным перемирьем? Я верю, что национальные особенности настолько потеряют свой оскорбительный характер, насколько он теперь потерян в обра-

Наташа слегла. «Коля, Коля не оставляет меня, жаловалась она мужу, — бедный Коля, как он, чай испугался, как ему было холодно, а тут рыбы, омари!» Она скончалась через пять с половиной месяцев вместе с только что родившимся мальчиком. Последняя записка от нее Герцену: «Единственному, неизменному, милую другу моему, моему кровному и духовному близнецу...».

«Мне в будущем ничего нет, и нет мне будущего», — написал Герцен Марии Рейхель, близкому другу семьи, к ней были отправлены дети. Кто бы осмелился кинуть в него камень, если бы человек на этом завершился?

Спустя несколько месяцев он сел за «Былое и думы», спустя несколько лет — стал за печатный станок вольного русского слова.

«Где не погубило слово, там и дело еще не погубило... Повиноваться противнику своему убеждению, когда есть возможность не повиноваться, — безнравственно... Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе».

Сегодня эти огненные слова «С того берега» звучат так же сильно и так же необходимо, как тогда, как всегда.

Его мысли о нас с вами

Мы взяли эпиграфом слова Гейне, приведенные Герценом в «Записках одного молодого человека». Прошли годы, Герцен вновь возвращается к этой проблеме.

«Кто имеет право писать свои воспоминания?»

«Всякий... Для того, чтоб писать свои воспоминания, вовсе не надобно быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным человеком, — для этого достаточно быть просто человеком...».

И продолжает: «Дело в том, что слово «иметь право» на такую или другую речь принадлежит не нашему времени, а времени умственного несовершенстволетия, позвольте сказать, докторских шапок, цеховых ученых, патентованных философов, метафизиков по диплому и других фарисеев...».

История словно ходит кругами.

В чем ценность любых записок? В том, что открываются еще одна «вселенная». Но и в том также, что это документ эпохи. «Благодаря цензуре, — пишет Герцен, — мы не привыкли к публичности, всякая гласность нас пугает...». И приводит пример: в Англии каждый, появившийся на общественной сцене, подлежит разбору, будь то разносчик писем или королева. «Это — великая удача! — заключает Герцен. — Пусть же и наши императорские актеры тайной и явной полиции, так хорошо защищенные от гласности ценсурой и отеческими наказаниями, знают, что рано или поздно дела их выйдут на белый свет».

Слушая, читая Герцена, снова и снова возвращаешься к мысли об исторической секунде: все близко, все остро.

Поборник свободы и гласности, достоинства и независимости личности и народа, он ведал тяжесть каждого шага. К тем, кто жаждал и жаждал быстрых и гарантированных результатов, обрещал он свою трезвую речь: «Как будто кто-нибудь (кроме нас самих) обещал, что все в мире будет изящно, справедливо и идти как по маслу». Надежда на исполнение выметанного идеала? «Рим не исполнил ни Платонову республику, ни вообще греческий идеал. Средние века не были развитием Рима». Да, и нам казалось, что вечные идеи добра и справедливости, доставшиеся от прошлого, вот-вот исполнятся, или уже исполнились, при устройстве нашего социализма — если вычест неисчислимые человеческие жертвы, приказной правопорядок и отсутствие свободы. Оказалось: вычест нельзя. Оказалось: вместе с этим вычитанием вычлось основное, суть.

В чем же оптимизм Герцена? И нам-то как быть, если отпали шоры, а вместе с тем сброшены и розовые очки? «Конечно, положение человека в истории сложнее, тут он разлом лодка, волна и кормчий». И все-таки, после самых трудных размышлений, Герцен заканчивает еще одним воображаемым диалогом:

«Теперь вы понимаете, от кого и кого зависит будущность людей, народов?»

— От кого?

— Как от кого?.. да от НАС С ВАМИ, например. Как же после этого нам сложить руки!».

Замечательный финал. Буквальный наказ для НАС С ВАМИ.

Он оставил нам и более конкретную цель. «...Понять всю ширину и действительность, понять всю святость прав личности и не разрушить, не раздробить на атомы общество — самая трудная социальная задача. Ее разрешит, вероятно, сама история для будущего, в прошедшем она никогда не была разрешена».

О. КУЧКИНА.

ИСКАНДЕР

Продолжение драмы

1 мая 1854 года, склонившись над письменным столом в своем лондонском доме, 42-летний Герцен записывал: «Шепкая живучесть человека более всего видна в невероятной силе рассеяния и забывчивости. Сегодня пусто, вчера страшно, завтра безразлично: человек рассеивается, перебирая давно прошедшее, играя на собственном кладбище».

Немногом более двадцати лет отделяют этого человека от того, кто входил в жизнь с блестящими способностями, надеждами, планами. Судьба обошлась с ним жестоко: все дал, все и отнял. Как будто нарочно, как будто лишь затем, чтобы посмотреть, какую же истинную ценность он собой являет.

14 ноября 1851 года он получил письмо из Марселя: его мать, Луиза Ивановна, извещала, что завтра садится вместе с Колей на пароход и вскоре будет в Ницце, где жили тогда Герцены.

К Коле Герцен и Наташа пытали особую нежность. Мальчик родился глухонемым — результатом испуга Наташи при полицейском обыске в Петербурге.

В день ожидаемого приезда с утра убрали дом, развесили в саду и в комнатах китайские фонарики, в вазы поставили розы. Тата, старшая дочь, разложила любимые игрушки для брата. В шестом часу вечера от моря отделилась струйка дыма, затем показался пароход. Герцен сел в коляску и отправился на пристань встречать мать и сына.

Это оказался другой пароход. Тот — потерпел катастрофу у Гиерских островов.

Еще недавно дул сирокко, было жарко и солнечно. Теперь завывал мистраль, резкий, пронзительный, ледяной. Герцену, рванувшемуся в Гиер (Иер), открывались гробы с погибшими в крите монастыря. Своих он не нашел.